КЛАССИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ

В. Э. ВАЦУРО

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

ДОМ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

SHOUT
SHARE
IT

- Вадим Эразмович Вацуро
  - Из разысканий о Пушкине[1]
    - 1. Пушкинский анекдот о Павле I
    - 2. «Побежденная трудность»
    - 3. Пушкинская поговорка у Лермонтова
    - 4. К истории пушкинского экспромта
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

Вадим Эразмович Вацуро

Из разысканий о Пушкине[1]

1. Пушкинский анекдот о Павле I

В черновой тетради В. А. Соллогуба, хранящейся в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина и содержащей ранние редакции статей, очерков и повестей («Взяточник», «Именины» и др.) и записи услышанных рассказов, находится несколько исторических анекдотов о Павле I. Среди них особое внимание привлекает приводимый ниже рассказ, слышанный Соллогубом от Пушкина.

«Пушкин рассказывал, что, когда он служил в Министерстве ин.<ост-ранных> дел, ему случилось дежурить с одним восьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее.

Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел[2] и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: „Указ е.<го> и.<мператорского> в.<еличества>“ — и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать[3]. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказания и боялся начать с средины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий[4] чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего.

— Что ж государь? — спросил Пушкин.

— Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел.

— А что же диктовал вам государь? — спросил снова Пушкин.

— Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган — что ни одного слова припомнить не могу»[5].

* * *

Тетрадь Соллогуба заполнялась в середине 1840-х годов (одна из последующих записей датирована 1846 г.). Таким образом, наша запись, хотя и сделанная по памяти, принадлежит к числу довольно ранних. Близкое, хотя и недолгое, общение

Соллогуба с Пушкиным увеличивает достоверность его свидетельства: можно думать, что он слышал рассказ сам, а не получил через вторые руки, как иногда бывало[6]. В таком случае это произошло не ранее середины 1830-х годов, когда Соллогуб встречался с Пушкиным у Карамзиных, и вероятнее всего с 1836 г., уже после благополучного окончания их конфликта, едва не закончившегося дуэлью. К осени 1836 г. Соллогуб относит свое «короткое сближение» с Пушкиным. «Не могу простить себе, что не записывал каждый день что от него слышал», — замечал он впоследствии[7].

Между тем услышал Пушкин анекдот не в 1830-е годы, а гораздо раньше, когда ему случалось дежурить в Коллегии иностранных дел. Это было в первые годы после выхода из Лицея. 15 июня 1817 г. он был приведен к присяге и зачислен на службу, и до своего отъезда из Петербурга в мае 1820 г. он мог нести дежурство неоднократно (исключая, конечно, время отлучек — например, с 8 июля по конец августа 1817 г. — или болезни)[8].

Анекдот, таким образом, как бы имеет две даты и связан одновременно с двумя стадиями исторического и литературного сознания Пушкина. В 1810-е годы его остро интересует история цареубийства 11 марта, но прежде всего в своей социально-политической и философской основе. Так она появляется в «Вольности» и позднее, уже на юге, в «Заметках по русской истории XVIII века». Нет сомнения, что Пушкин в это время не раз слышал анекдоты о Павле и его времени — от Карамзина, от Греча, сообщившего десятки их в своих поздних записках; на юге — от Ланжерона, Болховского и др[9]. Все вероятные источники осведомленности Пушкина, разумеется, учесть невозможно, как невозможно представить себе тематический и сюжетный репертуар рассказов, бывших в его поле зрения. Один их них, однако, может привлечь наше внимание: это несомненно известный Пушкину рассказ об отце В. К. Кюхельбекера, перед самым падением Павла едва не попавшем во временщики. Накануне своей последней ночи Павел посылал его узнать, что означает собрание нескольких титулованных особ между дворцом и садом. На следующее утро Карл фон Кюхельбекер уже прощался с телом бывшего императора, стоя за сомкнутыми штыками часовых[10]. Как и в публикуемом нами рассказе, случайность играет здесь принципиальную, а в литературном отношении и сюжетообразующую роль. Тем не менее ни один из этих исторических анекдотов не отражается ни в художественном творчестве, ни в письмах и записях раннего Пушкина, дошедших до нас. Интерес к анекдоту как жанру придет позже, вместе с эволюцией исторических представлений Пушкина. Вероятно,

«история домашним образом» уже представала в уничтоженных Пушкиным автобиографических записках. В 1826 или 1827 г. Пушкин задумывает трагедию «Павел I», о которой рассказывает на вечере у Полевого 19 февраля 1827 г[11]. С другой стороны, по-видимому, к этим же годам относится сохраненный Вяземским юмористичекий рассказ Пушкина о некоем академике, который имел «свой взгляд на историю»: 11 марта 1801 г., вызванный ночью к ректору, он обнаружил на столе пунш — и на этом кончились его исторические воспоминания[12]. Этот бытовой, «нижний» регистр политических событии в 1830-е годы также включается Пушкиным в понятие «истории»; он отражается в «Table Talk», в записях бесед с Загряжской, в дворцовых анекдотах, которыми обменивается Пушкин со Смирновой-Россет. То же самое мы находим в дневнике 1833–1835 гг., который является и красноречивым свидетельством постоянного интереса Пушкина к личности и судьбе Павла — «романтического нашего императора»; это определение косвенно указывает на новую фазу интереса — внимание Пушкина обращается теперь и на психологию личности, в которой странно смешиваются противоположные свойства и наклонности: гуманные побуждения с бессмысленной жестокостью, своеобразная «рыцарственность», кодекс сословной чести, чувство справедливости с неограниченным деспотизмом и самодурством, здравый смысл с психическими аномалиями. К этому времени в памяти Пушкина и всплывает забытый анекдот, характеризующий данное направление интересов, и он прекрасно включается в общий контекст других услышанных или рассказанных им тогда же анекдотов-новелл на близкие темы.

Не зная исходного рассказа, мы не можем судить, как он преобразился в передаче Пушкина; нам неизвестно, какую трансформацию он претерпел и под пером Соллогуба. В поздних мемуарах Соллогуб цитировал по памяти пушкинские письма с почти текстуальной точностью. Здесь он, очевидно, не ставил себе такой задачи: об этом свидетельствуют, между прочим, и следы его работы над текстом, сохраненные рукописью. С другой стороны, работа эта минимальна; в черновой рукописи мы обнаруживаем лишь единичные исправления и невыправленные погрешности против практической стилистики, что говорит об экспромтном характере записи. Она позволяет уловить общие принципы пушкинского построения новеллы: стремительно развивающийся сюжет, освобожденный от побочных описаний и еще подчеркнутый протокольным лаконизмом малораспространенных предложений, и остропсихологическая ситуация, занимающая как бы периферию рассказа, —

парализованный страхом чиновник действует силой канцелярского автоматизма, предписывающего начинать переписывание с заголовка; способность к рациональной волевой деятельности у него подавлена полностью и восприятие диктуемого текста заторможено; наконец, чувство страха и ожидание наказания увеличивается у него с каждым пропущенным словом, безостановочно следующим одно за другим. По динамически возрастающему напряжению эта ситуация напоминает другой психологический этюд Пушкина — переданную Нащокиным историю любовного приключения со светской женщиной (видимо, с графиней Д. Ф. Фикельмон)[13]. В нашем рассказе напряжение разрешается резким спадом, производящим впечатление комического облегчения по контрасту с ожидаемым: расправа, сравнительно легкая, последовала мгновенно и исчерпала инцидент — император «ничего-с»: «изволил <…> ударить <…> в рожу и вышел». Столкновение стилистических рядов — канцелярски-«высокого» и вульгарно-просторечного — усиливает разрешающий комизм концовки. При этом она оказывается совершенно «в духе Павла», верн е е, того его облика, который закреплен многочисленными рассказами о его импульсивном поведении: под влиянием минуты принят важный указ, под влиянием минуты и по случайному поводу указ этот уходит в небытие.

Здесь мы подходим к глубинному смыслу анекдота, скрытому за пародийностью внешнего сод е ржания. Этим смыслом он не мог наполниться в 1810-е годы. Проблема исторической случайности стала занимать Пушкина только в Михайловском. 13 и 14 декабря 1825 г. он пишет «Графа Нулина», «пародируя» «историю и Шекспира», и одновременно начинает развертываться цепь парадоксальных случайностей в его собственной судьбе: неудачный выезд из Михайловского в канун выступления на Сенатской площади, неожиданное освобождение и т. д. В заметке о «Графе Нулине» (1830?) окончательно формулируется мысль о том, что большое историческое событие может не произойти в силу случайности. Факты собственной биографии Пушкина способны были лишь дать новую пищу его историческим размышлениям[14].

История царствования Павла обогащала проблему историческими прецедентами. Последние дни его царствования были чреваты переменами, которых ждали с минуты на минуту; непредсказуемая воля императора могла на какое-то время изменить течение внешней и внутренней политики страны, коснуться престолонаследия, разрушить случайными арестами уже зревший заговор[15]. Эта обстановка, прекрасно памятная

современникам, конечно, была известна Пушкину; она объясняет не только интерес Пушкина к содержанию указа, продиктованного спешно, ночью, в пустом здании Коллегии иностранных дел, но и определяет место, которое принадлежит указу в сюжетной структуре рассказа. Два контекста — созданный самой повествовательной сферой и более широкий, реально-исторический — увеличивают «суггестивность» мотива, ожидаемую значительность события и поднимают концовку на уровень не только стилистического, но и исторического гротеска.

Такова эта новелла Пушкина о «несостоявшейся истории» — один из немногочисленных сохранившихся образцов его устного повествовательного мастерства, отразивший в миниатюре его литературные и исторические интересы 1830-х годов.

2. «Побежденная трудность»

Крылатое словцо «побежденная трудность» («difficulté vaincue»), по-видимому, были одним из излюбленных у Пушкина. Оно появляется впервые в статье «О поэзии классической и романтической» (1825), где Пушкин характеризует им рифму: «побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие» (Акад., XI, 37). Охотно пользовался им Пушкин и в разговоре. «Он выше всего ставил „la difficulté vaincue“», — вспоминал барон Е. Ф. Розен. На этот раз речь шла о своеобразной особенности трагедии Розена «Басманов» — отсутствии в ней фигуры Лжедимитрия, персонажа, казалось бы, неизбежного при избранной Розеном теме. В том, что драматург сумел обойтись без Лжедимитрия в пьесе о Басманове, Пушкин видел особое искусство, «побежденную трудность». Розен утверждал, что Лжедимитрий не был нужен ни для авторского замысла, ни для движения сюжета, «Какая *побежденная трудность*, — возразил я, — когда я и не *боролся*!», «Voil à justement ce qui prouve que la difficul té est complètement vaincue» («Это-то и доказывает, что трудность вполне побеждена»), — ответил Пушкин[16].

По-видимому, Розен довольно точен в передаче деталей разговора; ту же тему и те же выражения мы находим в сохранившемся письме его к Пушкину от 13 декабря 1836 г., где он говорит о своем либретто к «Ивану Сусанину»: «Personne ne remarque la peine inouie que m'a coûtée cette composition; je m'en glorifie: c'est une preuve, que j'ai vaincu la difficulté» («Никто не замечает огромных усилий, которых мне стоило это произведение; я этим горжусь; это доказывает, что я победил трудность») (Акад., XVI, 197, 399). В этой фразе слышатся отзвуки предшествующих бесед о принципах драматического искусства.

Нам уже приходилось указывать, что пушкинская формула восходит к письму Вольтера Г. Уолполу о трагедии и к его же «Рассуждению о трагедии», где Вольтер требует соблюдения жизненной «достоверности» сценического действия в пределах классических «правил»; это и есть та «трудность», преодоление которой приносит «пользу и удовольствие»[17].

С легкой руки Вольтера выражение «побежденная трудность» получило распространение в русской литературе. Так, Батюшков писал в «Прогулке в Академию художеств» (1814): «…я не одних побежденных трудностей ищу в картине»[18]. Конечно, Пушкин мог заимствовать формулу у Вольтера непосредственно, однако при этом он учитывал русскую традицию ее бытования, и, вероятно, не только письменную, но и устную. Известно,

например, что эту формулу любил и часто цитировал Карамзин. В 1799 г. Г. П. Каменев, посетивший Карамзина, сообщал в письме к С. А. Москотильникову: «Стихи с рифмами <Карамзин> называет *побежденною трудностью*…»[19]. Вслед за Карамзиным Пушкин употребляет это определение, характеризуя рифму.

«Побежденная трудность» — не единственное речение, перешедшее к Пушкину через Карамзина. Ту же судьбу имели афоризм Бомарше «Il ne faut pas que l'honnête homme mérite d'être pendu» («Не должно, чтобы честный человек заслуживал повешения»), взятый в качестве эпиграфа к статье «Александр Радищев», и слова «подвиг честного человека», примененные Пушкиным к самому Карамзину[20]. Кс. Полевой вспоминал, что Пушкин «любил повторять изречения или апофегмы Карамзина»[21].

Искусство беседы, которым Пушкин владел с блеском, питалось разными истоками, и кружок Карамзина, по-видимому, был одним из них. Во всяком случае мы знаем теперь, что некоторые изречения прославленных французских остроумцев XVIII столетия, воспринятые Пушкиным, получили первоначальное хождение именно в этой среде, давшей, кстати сказать, таких известных в свое время острословов, как Вяземский и Д. Н. Блудов.

3. Пушкинская поговорка у Лермонтова

В лермонтовском «Журналисте, читателе и писателе» в монологе Журналиста есть строки:

> Войдите в наше положенье!
> Читает нас и низший круг;
> Нагая резкость выраженья
> Не всякий оскорбляет слух;
> Приличья, вкус — все так условно;
> А деньги все ведь платят ровно!!!

Э. Г. Герштейн впервые обратила внимание на то, что для речевой характеристики Журналиста Лермонтов воспользовался ходовым выражением, употребительным в кружке Карамзиных. В августе 1840 г. Вяземский вспоминал его как «старую прибаутку». «Войдите в мое положение! — голос значительно возвысить на слоге „же“. Эта фраза с этим ударением была в большой моде прошлым летом у Карамзиных и пущена в ход, кажется, Лермонтовым»[22].

Между тем есть и иное свидетельство о происхождении этого выражения, 5 мая 1846 г. Плетнев писал Я. К. Гроту: «Приготовься видеть в № 6 „Современника“ одни учено-сериозные статьи без малейшей примеси легкого чтения. Я знаю, что ты будешь бранить меня. Но войди в мое положение (как любил в таких случаях говаривать покойный Пушкин)…»[23].

Плетнев указывает на свой источник более определенно, чем Вяземский, и по-видимому с полным основанием. Вряд ли поговорка попала к нему от Карамзиных, с которыми он общался редко и никогда близок не был. Пушкина же, особенно в последние годы жизни поэта, он знал домашним образом и был связан с ним теснее, нежели Вяземский; в памяти его запечатлелись речения, привычки, характерные мелочи и особенности повседневного поведения его покойного друга, — о них он вспоминал часто в письмах к тому же Гроту. Вероятнее всего, поговорка, приведенная им, была в ходу у Пушкина и Карамзиных, откуда она уже и попала к Лермонтову. Вяземский же приписал ее Лермонтову по совершенно понятной аберрации: к августу 1840 г. он уже знал «Журналиста, читателя и писателя», опубликованного в апрельском номере «Отечественных записок» за 1840 г.

Пушкинское речение совершенно естественно входит в

стихотворение Лермонтова, ближайшим образом связанное с литературно-полемической позицией Пушкина и его группы и включающее целый ряд реминисценций из стихов и полемических статей 1830–1831 гг. Эта особенность «Журналиста, читателя и писателя» достаточно хорошо известна. На нем лежит и отпечаток литературно-бытовой среды, в которой возникло стихотворение. Пушкинская поговорка в нем, однако, является чем-то большим, нежели простая реминисценция: она, конечно, рассчитана на узнавание и на определенное интонирование, как об этом пишет Вяземский. По-видимому, она читалась с жалобно-просительной интонацией, с особым эмфатическим подчеркиванием фразы, и тем самым получила дополнительные смысловые акценты.

4. К истории пушкинского экспромта

В своих воспоминаниях о Пушкине («Ссылка на мертвых», 1847) Е. Ф. Розен рассказывает следующий эпизод.

Пушкин охотно выслушивал его критические реплики по адресу близких писателей, за исключением лишь одного, имя которого Розен обозначил буквенной анаграммой N. N. Однажды в разговоре Розен заметил это Пушкину. «Вы знаете, что я уважаю и как человека и как писателя N. N.; но как только коснусь его слабой стороны, вы тотчас вооружаетесь серьезною миною, так что поневоле замолчишь. Воля ваша, я не поверю, чтобы вы всегда оставались серьезны, читая стихи N. N., например (тут я привел одно место, где для рифмы, и чрезвычайно некстати, мелькнул „огнь *весталок*“). Пушкин не утерпел, расхохотался и признался мне, что, читая это место, он невольно закричал в рифму „*Палок*!“. Тут-то и объяснилось, что частые резкие изысканности у N. N., так и вызывающие эпиграмматическую критику, побудили Пушкина вооружиться против нее, единожды навсегда, этою серьезною миною»[24].

Этот писатель, не названный Розеном, — П. А. Вяземский, а цитированное стихотворение — его известное «Послание к М. Т. Каченовскому» (1820), бывшее в свое время предметом ожесточенной журнальной полемики и начинающееся словами:

> Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок
> Талантов низкий враг, завистливый зоил.
> Как оный вечный огнь на алтаре весталок,
> Так втайне вечный яд, дар лютый адских сил,
> В груди несчастного неугасимо тлеет
> и т. д.

Добросовестный мемуарист, Розен, конечно, не выдумал этот эпизод, но смысла его не понял, так как не мог знать его предысторию.

Послание Вяземского было резким памфлетом на Каченовского как «зоила» Карамзина. Оно появилось в январский книжке «Сына отечества» за 1821 г.; сразу же по выходе Каченовский перепечатал его в своем «Вестнике Европы», снабдив издевательскими примечаниями. Одно из них касалось замеченной Розеном строки с «весталками». Изысканный и неточный образ, как считал критик, дан только для рифмы; малоталантливый автор изнемог в борьбе с техническими

трудностями стиха. Каченовский приводил к случаю признание «дурного поэта» из сатиры И. И. Дмитриева «Чужой толк»:

> …Чалмоносна Порта!
> Но что же к ней прибрать мне в рифму, кроме Черта?[25]

Выпад Каченовского был подхвачен; другой критик «Вестника Европы» в мартовской книжке журнала замечал: «Огонь в храме Весты был священнейшим, благодетельнейшим для римлян <… > а здесь, для рифмы, он служит примером мучительному огню зависти!!»[26]. Еще через два месяца Каченовский печатает ответное послание Вяземскому С. Т. Аксакова, где тоже не забыт «огнь весталок»:

> Священной Весты огнь не оскорблю сравненьем
> Сего фанатика с безумным ослепленьем[27].

Уже 19 февраля 1821 г. в письме А. И. Тургеневу Вяземский отвечал на упреки: «Можно прибрать и палок и галок, и все это будет не hors d'oeuvre»[28].

Пушкин на юге следил за «журнальной войной» и тоже принял в ней некоторое участие. Посланием Вяземского он не был доволен и 2 января 1822 г. писал автору, что для Каченовского достаточно было «легкого хлыста» эпиграммы и не было надобности в «сатирической палице» (Акад., XIII, 34). Вслед за тем он пишет сам такую эпиграмму — известное четверостишие, посланное в письме Л. С. Пушкину 21 января 1822 г.:

> Клеветник без дарованья,
> Палок ищет он чутьем
> и т. д.
>
> *(Акад., XIII, 36)*

Эти строки каламбурны и имеют в виду как раз примечание о «весталках». Нападая на рифму «жалок» — «весталок», Каченовский подсказывает («ищет чутьем») другую, более естественную — «палок». Любопытно, что Вяземский также шел к этому каламбуру, но остановился на полпути. В марте 1823 г. Пушкин посылает текст эпиграммы и самому Вяземскому (Акад., XIII, 60). А 7 июня 1824 г., как будто продолжая начатый за два

года до этого спор об эпиграмме как средстве полемики, он пишет Вяземскому по поводу эпиграммы последнего на М. Дмитриева и А. Писарева («Цып, цып, сердитые малютки»): «Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны, о поединке и смех и грех было и думать: то ли дело цып-цып или цыц-цыц» (Акад., XIII, 96).

Прямые или косвенные отзвуки этой полемики прослеживаются в творчестве Пушкина и позднее. Среди приписываемых ему стихотворений некоторое время печатался экспромт, как раз на четыре упоминавшиеся рифмы:

Черна, как галка,
Суха, как палка,
Увы, весталка,
Тебя мне жалко.

Принадлежность этого экспромта Пушкину была предметом сомнений и колебаний. П. А. Ефремов, исключивший его из своего издания, как написанный С. А. Соболевским, в следующем же томе напечатал поправку, указав на авторство Пушкина — с глухой ссылкой на источник своих сведений[29]. Позднее он раскрыл этот источник: им оказалось свидетельство П. П. Вяземского, удостоверившего, «что четверостишие это действительно пушкинское»[30]. Атрибуция Вяземского в дальнейшем, впрочем, была отвергнута, и лишь недавняя находка автографа — по-видимому, пушкинского — вновь ставит этот вопрос. Текст, напечатанный Ефремовым, был либо одной из редакций, либо переданным по памяти и искаженным текстом пушкинского экспромта «К портрету N. N.»:

Вот вам весталка,
Суха, как палка,
Черна, как галка,
Куда как жалка[31].

Каков бы ни был адресат эпиграммы, литературная генеалогия ее ведет к «Посланию к М. Т. Каченовскому» и последующим полемикам, и весьма любопытно, что именно семейная традиция Вяземских безоговорочно приписывала это четверостишие Пушкину.

Ни история полемик вокруг послания Вяземского, ни пушкинский экспромт, конечно, не были известны Е. Ф. Розену, с рассказа которого мы начали этот этюд. Розен вошел в

пушкинский круг лишь в конце 1820-х годов; в начале десятилетия он едва знал русский язык. Имя Вяземского он скрыл: в 1847 г., когда писались его мемуары, Вяземский был жив, еще не сошел с литературной сцены и Розен поддерживал с ним отношения. Тем более вероятным представляется рассказ Розена, который осмысляется как одно из звеньев длинной цепи литературных фактов. Вместе с тем, конечно, мемуарист переставил акценты и дал наблюдению собственную интерпретацию, как это делал нередко. Замечание Пушкина касалось не творчества Вяземского в целом, как думал Розен, но одного лишь эпизода его литературной биографии, которого Розен, сам того не зная, коснулся в случайном разговоре, заново пробудив в Пушкине весь круг связанных с этим эпизодом ассоциаций.

notes

Примечания

1

Печатается по изданию: Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л.: Наука, 1974. С. 100–108.

2

Далее зачеркнуто: вслед за ним.

3

Далее зачеркнуто: Павел.

4

Дрожащий вставлено.

5

ГБЛ, Венев. 65.12, лл. 57–55 об. (заполнение шло в обратном порядке).

Одним из примеров такой записи из вторых рук является анекдот о каторжниках, рассказанный якобы со слов Пушкина Кс. Мармье: поэт встретил на Тобольской дороге этапных, среди которых была женщина удивительной красоты; она была наложницей помещика и осмелилась изменить ему по любви; ревнивый деспот сослал ее в Сибирь. Этот анекдот был подробно прокомментирован Н. О. Лернером (*Лернер Н.* Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 125–131), которому не были еще известны опубликованные в 1931 г. материалы «Автобиографии» А. О. Смирновой, где он рассказан совершенно иначе и с другим смыслом — непосредственно со слов Пушкина (*Смирнова-Россет А. О.* Автобиография. (Неизданные материалы). Подг. к печ. Л. В. Крестова. М., 1931. С. 178). Конечно, Кс. Мармье слышал анекдот от Смирновой, но очень свободно воспользовался сюжетом.

7

Соллогуб В. А. Воспоминания. Ред., предисл. и прим. С. П. Шестерикова. Вступит. статья П. К. Губера. М.; Л.: Academia, 1931. С. 520–528, 354. «Он поощрял мои первые литературные опыты, — писал Соллогуб о Пушкине, — давал мне советы, читал свои стихи и был чрезвычайно ко мне благосклонен, несмотря на разность наших лет. Почти каждый день ходили мы гулять по толкучему рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах». В экземпляре «Воспоминаний» (СПб., 1887). принадлежавшем О. Н. Смирновой, дочери А. О. Смирновой-Россет, известному автору псевдомемуаров матери, против этого места рукой владелицы сделано несколько скептически-раздраженных помет. Так, против фразы «Почти каждый день ~ бегали от нас с ужасом» записано: «Ну, не Хлестаков ли Соллогуб?»; далее подчеркнуто слово «балах» и замечено: «Пушкин был в трауре по матери и не ездил на балы в 36 г. вовсе, а Н. Н. родила в эту зиму» (*Соллогуб В. А.* Воспоминания. 1887. С. 175–176; экземпляр библиотеки ПД — шифр 89.2 2 / 73, из собрания А. Ф. Онегина). Экземпляр этот был известен С. П. Шестерикову, который выборочно воспользовался пометами Смирновой для своего издания воспоминаний Соллогуба (*Соллогуб В. А.* Воспоминания. 1931. С. 412). Справедливость рассказа Соллогуба в целом этими замечаниями, впрочем, никак не дезавуируется; сами они в свою очередь содержат ряд неточностей.

8

См.: *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. М.: Изд. АН СССР, 1951. С. 127 и сл.

9

См.: *Фейнберг И.* Незавершенные работы Пушкина. Изд. 4-е. М.: «Сов. писатель», 1961. С. 401–413.

10

См.: *Маркевич Н. А.* Воспоминания о Кюхельбекере // Литературное наследство. Т. 59. М.: Изд. АН СССР, 1936. С. 509–510.

11

Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л.: «Academia», 1935. С. 276–278; *Цявловская Т. Г.* Пушкин в дневнике Франтишка Малевского // Литературное наследство. Т. 58. Л.: Изд. АН СССР, 1952. С. 266.

12

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. VIII. СПб., 1883. С. 310.

13

См. в кн.: Рассказы о Пушкине, написанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах. Вступит. статья и прим. М. А. Цявловского. Л., 1925. С. 36–37, 98–102; *Гроссман Л.* Этюды о Пушкине. М.; Пгр., 1923. С. 79–113.

14

Здесь не место анализировать историческую проблематику «Графа Нулина» и заметки о нем, — это особая проблема. Заметим лишь, что интерпретация их как иронической полемики против исторического фатализма, предложенная в последнее время А. М. Гординым (см. его статью «Заметка Пушкина о замысле „Графа Нулина“» в кн.: Пушкин и его время. Вып. 1. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1962. С. 232–215), не представляется нам до конца убедительной. Актуальность полемического выступления против исторических ошибок Тита Ливия, Овидия и Шекспира (Там же. С. 240–241) в 1825 г. чрезвычайно сомнительна. С другой стороны, Пушкин пишет: «мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась» (разрядка моя. — В. В.), что уже вовсе не укладывается в аргументацию статьи. Очевидно, функция пародии здесь иная: она заключается в ироническом соотнесении классической римской истории и забавного эпизода из жизни провинциальных помещиков; последний ставится в контекст исторических событий мирового масштаба, а эти события, наоборот, низводятся до бытового анекдота. В заметке о «Графе Нулине» отразилась не только проблематика поэмы, но и жизненный опыт Пушкина последующих лет; заключительная фраза «бывают странные сближения» выводит все осмысление эпизода из иронической сферы в серьезную и драматическую. Все это мы находим и в публикуемом анекдоте.

15

Шильдер Н. К. Император Павел Первый. СПб., 1901. С. 466 и сл.

16

Барон Е. Розен. Ссылка на мертвых // Сын отечества. 1847. № 6. Отд. III. С. 19–20.

17

См.: Временник Пушкинской комиссии. 1967–1968. Л.: «Наука», 1970. С. 48.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. II. СПб., 1885. С. 107.

19

См.: *Бобров Е. А.* Литература и просвещение в России XIX века. Т. 3. Казань, 1902. С. 130.

20

См.: *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». М.: «Книга», 1972. С. 96, 105–106.

21

Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 279–280.

Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М.: «Сов. писатель», 1964. С. 197.

23

Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. II. СПб., 1896. С. 464.

Сын отечества. 1847. № 6. Отд. III. С. 18.

25

Вестник Европы. 1821. № 2. С. 99.

Там же. № 5. С. 33.

Там же. № 9. С. 12.

Остафьевский архив. Т. II. СПб., 1899. С. 165.

29

Пушкин А. С. Сочинения. Изд. 3-е, испр. и доп. Под ред. П. А. Ефремова. Т. 3. Изд. Я. А. Исакова. СПб., 1880. С. 459. Среди эпиграмм Соболевского известна эпиграмма на Н. Ф. Павлова с использованием двух из приведенных рифм: «Не в ту силу, что ты жалок, Не даю тебе я палок, Но в ту силу, что мне жалки Щегольские мои палки!» (см.: *Соболевский С. А.* Эпиграммы и экспромты. М., 1912. С. 74).

30

Пушкин А. С. Сочинения. Ред. П. А. Ефремова. Т. VIII. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1905. С. 270.

31

См.: *Трофимов И. Т.* Автограф А. С. Пушкина // Советские архивы. 1973. № 2. С. 108–109.